

Оригинал здесь: http://dugward.ru/library/tolstoy_ak/aihenval_tol.html.

Алексей Толстой, как Иоанн Дамаскин, герой его поэмы, был, несомненно, искренний иконодолог искусства, и наиболее ненавистны и непонятны были для него иконокласты, "икон истребители", самодовольные в своей материалистической трезвости. Он не считал песнопения грехом, не видел в нем "прелести". Без икон красоты, без этого красного угла эстетики, не мила ему была самая храмина жизни. Там, где беззвучно, где нет песни, - там для него небо не защита, не свод, а тягость и оно "усталую землю гнетет". Он верил в предсуществование искусства. Мир предстоял ему как художественное произведение, которое чуткие поэты и музыканты выявляют, подобно тому как "над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают". Мир талантлив. Он звучит музыкой, переливается красками, в нем реют слова, и это он нашептывает темы для земных творцов. Когда Бетховен слагал свой марш похоронный, он не из себя брал "этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушение светлых миров в безнадежную бездну хаоса", -

Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве.
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания.
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света.

Если так, то в искусстве - истина, и красота не украшение, а сама сущность бытия, его имманентная природа; если так, икона, образ - это благодатная необходимость, которой всякий раз и поклоняется "наш мир удивленный". Толстой больше всего привлекателен этой способностью удивления перед мировой и человеческой иконой, в особенности если она - старинная, издавна чтимая, если она напоминает изысканные, выцветшие тона гобелена, как прекрасные терцины его "Дракона".

Но он как-то слишком помнил о себе, что был певцом, "державшим стяг во имя красоты", говорил это не раз и, главное, сам был иконописец не из первых и великих. Скоро замечаешь рамки его ограниченного дарования; часто его стихи отравлены вялой прозой и рассудочностью; еще чаще он выступает как поэт эффекта, как любитель бенгальских огней. Он не мастер, не учитель - он редко подымается над уровнем ученика. Ближе ему отзвуки, чем звуки, и больше следует он за чужим вдохновением. Какой-то посредник стоит упорно между ним и самою поэзией и делает из его произведений нечто воспроизведенное. Алексей Толстой вторичен. И большинство его страниц, там особенно, где он не отдается лирике, написаны на тему.

Именно потому, что он не отличается такою силой поэтического порыва, которая претворяла бы в одно слиянное, нераздельное целое, в одну пушкинскую гармонию, "все мира явления, вблизи и вдали", - он слишком отчетливо, или, употребляя его любимое выражение, слишком "отчетисто", видит внешнюю историческую межу, которая отделяет близкое от далекого, настоящее от прошлого, Россию от Руси. Для него важное и первенствующее значение приобрели несущественные мерила времен и пространств, и он из древности сделал особую икону, - нет, даже часто делал из нее лубок. Он вообще более обращен к старому, чем к становящемуся. Но в поэзии тот лишь может быть археологом, кто не имеет глубины и синтеза, кто жизнь мира не усвоил себе как вечное настоящее и вечную близость. Историзм не философичен. Интерес к наружному, даже к человеческой одежде, ко всем этим людям, облаченным в корзно, в мурмолку червленую, весь этот маскарад национализма, на котором так долго пребывал Толстой, является лишь показателем его нецельности, изобличает в нем отсутствие художественного обобщения. Пусть любовно воспринимал он старину и радостно окунался в студёные волны самобытной русской речи, пусть восхищается он тем, как от перезвона соборных колоколов "Москва превратилась в необъятную гармонику", - но ему не удалось из всего этого сделать нечто такое, что было бы серьезно и возвышалось бы над простою бутафорией. Он сам с удовольствием присутствует на пиру Грозного в "Князе Серебряном"; он тешит себя древними игрушками. Про него хорошо сказал Чехов, что он нарядился в оперный костюм, да так и забыл снять его по выходе из театра. Получилась явная искусственность и поверхностная стилизация, и Толстой не сумел даже выдержать старинного стиля, который он себе приобрел, но которого не связал органически со своей душою; "из былинного тона он выпал давно", и часто в его гуслирный звон диссонансом врывается какое-нибудь